

# ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

В РАЗЛОМЕ (1972-1984 гг.)

часть 1

*Человек не может быть настолько плох, чтобы годиться для этого мира.  
Халдор Лакснесс*

Из письма Кости, Владимирская область, 1975 год:

«Милый Глеб, ничего ведь ещё не закончилось. Говоришь, в Москве очень интересовались нашим прошлым... Говоришь, захотели приехать, посмотреть на нас... Говоришь, надо бы продумать наш путь и что-то написать... Спрос так велик, говоришь...

Неужели так интересно? Неужели это самое интересное в нас? И его можно пустить на продажу? И даже за границу? А почему нет? Ведь требуется, требуется новое, свежее, из истории современности, новый опыт для уроков (хорошо бы для уроков), для мысли, чувства, надежды.

Мы интересны прошлым? Нет, нет, нет, нет, нет. Прошлое ещё не закончилось, оно ещё убивает меня каждодневно...».

Из письма Глеба, 1976 год:

«Как ни страшно жить, жизнь продолжится, если мужчины не утратят волю к творческому сопротивлению абсурду, а женщины – веру и желание рожать детей в этот мир». В середине сентября 1976 года, после неудачной попытки самоубийства и принудительного лечения, которое с особым тщанием применяют к такого рода пациентам, я вышла из психоневрологического диспансера. И Костя, приехавший по телеграмме моего бывшего мужа Глеба, забрал меня замуж. Жизнь крошилась и разламывалась вокруг.

– Надо выжить, – сказал мне Костя. – Всё образуется, надо выжить. И Костя, и Глеб были из СИДа. Что означает эта аббревиатура, навеянная средневековыми рыцарскими романами, – об этом чуть позже. Всего их было четверо – страшно умных. И я: рапиры за спиной, книжка под мышкой, в руке яблоко – чтобы отдать кому-нибудь. Яблоко каждый день обязательно, как повод подойти. Они были мальчишки. А я – нет. Это определило наши отношения. Я их любила, а они расширяли моё сознание. Конечно, хотелось стать им нужной. Ну, позарез необходимой. Два года способ изобретала – и в кружке международных отношений, и в кружке социологии. Боже, сколько пришлось перечитать, чтобы им соответствовать, пока однажды не заговорила на их языке...

Из дневника Славы, 1970 год:

«Это было в марте 1970 года. В мою 402-ю комнату общежития № 4 Одесского университета пришли Игорь, Глеб и Костя... Они предложили заключить союз, чтобы точно выяснить, есть ли социализм в СССР, а если его нет – что здесь такое, и вообще, решить задачи, непосильные для одного человека».

К моменту объединения почти все ребята успели обжечься, пережив типичную для своего времени драму пионерско-комсомольского сознания, нагруженного идеалами строительства коммунизма и изнасилованного при попытках претворения их в жизнь.

Слава, будучи старше остальных на курсе, участвовал в «комсомольской оппозиции» на историческом факультете, ставившей целью добиться выборности комсомольского руководства не сверху, а снизу, для чего затевались интриги с тайными собраниями, протаскиванием своих кандидатов в курсовые и факультетское бюро. Впрочем, разочарование было скорым и болезненным.

Для Глеба и Кости поворотным пунктом был выпуск курсовой стенгазеты, сравнивавшей факультет с затхлым чуланом, пронизывавшей над авторитетами и требовавшей от студентов активности и самостоятельности.

Из дневника Славы:

«Газету читали все – и студенты, и преподаватели, мнения высказывались разные, однако итог начавшейся дискуссии подвёл деканат, передавший, как было сказано, газету в КГБ и устроивший её редколлегии

трёхчасовую выволочку в партбюро. Особую ярость администрации вызвал нарисованный гриб атомного взрыва, расцененный парторгом как маоистский призыв к третьей мировой войне (!).

Кстати, удивительное совпадение: ребята назвали газету «XX век и мир» – почти так называется московский журнал, в котором ныне работает Глеб.

С Игорем всё было несколько иначе. Белая книжная ворона, раздражающая своей непохожестью уличную шпану города Николаева, он принёс на факультет ненависть ко всему классу советского мещанства, которое окрестил словечком «щункты».

Для всех четверых сделался невыносим ужас той лжи, которая нагнеталась со всех сторон. Кому, чему верить? Я верю твоему желанию идти и искать. А ты – моему. Союз, единство казались выходом, будили воображение, придавали сил.

Через несколько лет, когда всё рассыпалось, пошло прахом, Слава написал книжку и выпустил её самиздатским способом в нескольких экземплярах. Назвал её «СИД» (начальные буквы от «субъект исторической деятельности»). У книжки есть судьба и нет черновиков. Всё арестовали – и сложили, наверное, в большой бумажный мешок. Глеб видел, как по коридору московского комитета волокли такой. На нём значилось: Гефтер М.Я. Учителя имя.

И я такой мешок видела, но без имени, в коридоре одесского комитета. Наверное, все мешки, которые по таким коридорам протаскивают, одним и тем же наполнены. Мыслями. А коридоры, похоже, общаются.

Так вот, экземпляры «СИДа» начали арестовывать после 1975 года. А последний – через семь лет, когда Глеба брали. Именно этот экземпляр лежит на моем письменном столе.

Из «СИДа»:

«...В Одессе расцветала весна, и мы собирались теперь у моря... Цель нашей деятельности была смутная, расплывчатая не только для меня, но и для остальных. Мы являлись гражданами великой страны и продолжали осознавать себя таковыми даже тогда, когда сталкивались в теории или на практике с гнусностями советской действительности. Ведь у нас был социализм, плановость экономики, отсутствие безработицы, а там, на Западе, бушевали полицейские преследования, эксплуатация, голод, нищета. Там всё было плохо, тогда, как у нас попадались... недостатки и искривления».

Правда, была масса неясностей, ощущение тупиковости, «но задавать вопросы было некому, или нельзя, потому что ответом мог быть донос в КГБ, разнос в деканате, исключение из университета – и мы засели в библиотеках и читальнях, пытаясь самостоятельно докопаться до истины, собираясь у моря, наслаждаясь возможностью говорить свободно и откровенно – хотя бы только друг с другом».

Позднее Игорь познакомился с одним из одесских диссидентов – Вячеком. «Мы узнали тогда, – писал Слава, – что в стране существует подпольное политическое движение, но контактировать с ним не захотели, рассматривая как особую линию в культурном развитии России».

Но всё-таки ознакомительная встреча с Вячеком состоялась. Он убеждал ребят в необходимости длительной борьбы за демократизацию страны, а они рассказывали о своих занятиях – изучении диалектики, истоков марксизма.

Из дневника Глеба:

«...Говорили с этим типом. Я категорически против любых контактов... Народ, видите ли, туп! Вся надежда на мыслящую интеллигенцию. „Духовная культура... Бердяев... мыслящие люди...“ – нет, это сплошное интеллектуальное и политическое свинство...»

Гуманизм и близорукое политиканство – это несовместимо. А ведь какая мелочность целей, интересов! Какое непонимание всей глубины и грандиозности реконструкции, осуществлённой революцией семнадцатого года!..».

Было дружно решено, что с диссидентами не по пути, но совсем уж отворачиваться от них не стоит – хотя бы из-за возможности доставать и читать самиздатскую литературу. (См. об этой встрече также в мемуарах Вячека Игрунова - прим. ред.)

Из «СИДа»:

«Для советского человека политика – явление не жизни, а информации... Из сидовцев лишь Глеб относился к политике серьёзно... особенно интересовался Кубой и молодёжным движением Запада. Оля же политику ненавидела и говорила: только любовь может победить атомную бомбу. Любовь, а не политики. Или только если политики займутся любовью – увлекутся ею. Любовь должна стать предметом их деятельности. И ссорилась с Глебом».

Да, с Глебом, таким безжалостно-умным, влюблённым не в меня, а в марксизм. Это он писал тогда же в одной из первых своих работ «Наброски к методу»: «Дело в том, что вследствие необходимых историко-генетических условий марксизм по своему статусу определился как прочно „принадлежащий“ наличному социальному бытию и, как следствие, чаще не в опредмеченной, а в овеществленной форме».

Диалектический гений Маркса и Ленина теряется в дремучих лесах абстракций, усердно нагромождаемых теми, о которых писал Маркс как о „второстепенных, назойливых, лишённых всякой индивидуаль-

ности фигурах“... Там же теряется и культура – культура, утраченная в самой себе, ибо, как человеческая, она не может примириться со своей самозначимостью и отчуждённостью от миллионов своих действительных творцов. Обрётённый же ею марксизм и есть не что иное, как осмысление этой утраты во всей её категорической наготе».

Цитата помимо прочего даёт некоторое представление и о том фантастическом птичьем языке, который постепенно сформировался в СИДе, прежде всего под влиянием усиленно штудированных Гегеля, раннего Маркса, Шеллинга, других живших раньше и современных мыслителей. Это был язык, на котором умудрялись говорить о самых бытовых, прозаических вещах и от которого приходили в оторопь случайные свидетели сидовских собраний.

«Связь с массами», по выражению Глеба, обеспечивал СИДу кружок социологин, старостой которого был Слава.

Из «СИДа»:

«Кружок принимал всё более интересные и устойчивые формы. Значительно расширился его состав, заседания проходили весьма бурно и дискуссионно. Темы были самыми различными: о смысле жизни, о народниках, о теории и методологии исследований. Оля занималась ценностными ориентациями личности. Игорь готовил доклад «Социальный идеал и действительность». Дискуссию на кружке обычно начинала и проводила в своём русле наша четвёрка. По факультету о социологическом кружке ходила тёмная слава: несколько раз на его заседания заходили незнакомые личности с авторучками и блокнотами. Естественно, что их присутствие учитывалось в наших выступлениях».

Разговоры, деятельность ребят вызывали интерес, притягивали к ним людей. Вот любопытная запись в дневнике Славы:

«Я завёл ребят в холл и сказал им о просьбе Оли работать с нами. Предложение было отклонено... Не имеет смысла включать в нашу, уже сработавшуюся четвёрку новых людей. Но я внёс предложение: каждому из нас создавать своих людей за пределами нашего ядра. Во-первых, таким путём мы расширим круг единомышленников, во-вторых, будем спасать от захирения дельных людей, не выпуская их из сферы своего заботливого внимания и тайной опеки. Впрочем, из последнего мало что получалось. Оля, как кошка у Киплинга, всегда гуляла сама по себе и более всего любила самостоятельность».

Да, но, тем не менее, в повестку заседаний СИДа регулярно включались – вполне серьёзно! – такие вопросы, как «Очередной роман Оли», по которым следовали рекомендации или даже решения... –

Поиски выхода, какой-то иной, лучшей жизни для целого общества сопровождались постоянными экспериментами во взаимоотношениях ребят.

Из дневника Славы:

«Мы собрались у Летнего театра. Первым говорил Костя. Вопрос был поставлен о нашей совместной этике. Мы живём во имя будущего и поэтому должны сейчас жить по его законам, то есть коммунистически, хотя бы между собой. У нас пока получается так, что мы идём рядом и с одной целью, но каждый невольно сохраняет свою самостоятельность, свою собственность на мысли, идеи и прочее... Это тормозит нас, потому что появится у тебя идея – и ты чувствуешь своё превосходство. Нужно, чтобы мы составляли одно целое не только в нашем деле, но и в жизни».

Из дневника Славы, 1971 год:

«Сессию мы сдали успешно: я и Костя на повышенную стипендию, Глеб с четвёркой по английскому языку. Наловчившись сдавать с помощью учебников за пазухой и шпаргалок в кармане, он вообще не обращал внимания на учёбу... Игорь сообщил, что хочет взять академ. отпуск... Он считает, что сейчас мы идём к чему-то новому, что в нашей стране создаётся обстановка, ведущая к милитаризации и диктатуре... происходит новое, нам не ясное, что мы зря вылезли на арену политической борьбы...»

На одной чаше весов лежал быт. На другой – честь и идеалы. Каждая из чаш требовала разных нас. И стрелка весов, покачиваясь, склонялась то в одну, то в другую сторону...». Мучительная неопределённость ситуации становилась невыносимой, и Слава предложил формализовать СИД.

«Идею формализации ребята отвергли, доказывая, что мы нечто большее, чем политики; но что же делать дальше – не знал никто».

Из «СИДа»:

«Загадка истории (ЗИ) – одна из тогдашних центральных идей Глеба, захватившая всех нас. Её суть: почему люди во все века так страстно желали новой несегоднешней жизни и почему, несмотря на все пертурбации, мессианство, революции и т. п., эта цель никогда не осуществлялась. По мнению Глеба, решение загадки истории дало бы человечеству возможность изменить вектор истории».

Из дневника Кости:

«Решить загадку истории – это, значит, создать нечто совершенно новое, даже, на первый взгляд, абсурдное... Как момент работы – создание ячейки неотчуждённого мира... Пока саморазвитие человечества – цель официальная, а саморазвитие человека рассматривается при этом как путь, средство к саморазвитию человечества... – Когда для всех станет целью каждый человек – коммунизм».

Потом Костя привёл Ирину. Волосы чёрные, до плеч. Со станиолевыми прожилочками – седина. Голубая радужка глаза не видна. Зрачок во всю голубизну. Пальцы с обкусанными ногтями.

Из «СИДа»:

«Ира любила Костю давно, ещё со школьных времён. А он, несмотря на всю привязанность к ней, оставался равнодушен. Это был ещё один источник его мучений. Неужели он настолько бесчувствен, бесчеловечен, что даже любовь, это самое человеческое чувство, для него недоступна?»

Ира учила Костю просто жить, понимать людей. Чувствовать музыку, живопись, природу, быть счастливым просто потому, что живёшь. Он пробовал следовать её советам (что чрезвычайно злило остальную состав СИДа, поскольку он отвлекался от дела), но ничего у него не получалось, и он, к нашей великой радости, вновь садился за книги.

«Теория „деятельной сущности человека“ московского философа Генриха Батищева и чтение ранних произведений Маркса привели нас к мысли о человеке как первооснове цивилизации. Вещные отношения, отчуждение губят, уродуют человека, превращая мир людей в мир потребителей. И мы старались отыскать путь к очеловечиванию современного общества, вернуть человека к его человеческой сущности».

Из дневника Кости:

«Из имеющихся возможностей мы ничего не хотим выбирать. Настоящий выбор будет не выбором существующего, а выбором несуществующего, первым существованием которого будем мы и наша деятельность. То есть, дойдя до чего-то и создав его идеально в процессе работы, мы материально воплотим это впервые в своей деятельности. Но выбор должен сначала произойти идеально, то есть мы должны идеально произвести нечто, что ещё не существует. Этим нечто и будет Утопия, эскиз мира, где, как в песне, „по синим цветам, бродят кони и дети“».

Из дневника Глеба, март 1971 года:

«Почему меня так окрылило открытие Кости. Он уверял – да, „там по синим цветам“, там солнце неимоверное, там ждут нас, пойдём же, чего нам ныть и медлить, когда тепло светится окошко... Мы снимем отчуждение, мы люди – мы построим новый мир. Мы объективны – вот источник оптимизма».

Из дневника Кости:

«Если идея овладевает массой в мои семьдесят пять килограммов, она тоже становится силой».

Из дневника Глеба:

«Мы должны быть максимум таким коллективом, который „берёт под контроль человека и условия его существования“ и в котором „свободное развитие каждого является условием свободного развития всех“ (Маркс). Только через „мы“ каждый из нас „выйдет в люди“».

Из дневника Славы:

«Последнее время мне очень не нравится Глеб. Начав играть роль вождя, он всё более превращает себя в самодура, упивающегося собственным величием. Я уже не решаюсь в его присутствии о чём-либо говорить, заранее зная, что любая моя реплика, не отвечающая взглядам самого Глеба, будет высмеяна и презрительно отброшена».

И через несколько дней:

«Почему обижался на Глеба. Это была обида личности на личные оскорбления. Но так нельзя. Мы деятели, и для действия нам надо отказываться от всего личного: от личной ориентации на внешний мир, от... себя как личности. Каждый из нас – всего лишь материал для будущего. Отдадим настоящее другим: сытым и счастливым, романтикам и бюрократам, подлецам и честным. Пусть делают его справедливо или несправедливо, мирно или войной – пусть делают... „Выбор – дорога революционера“... Ну что ж, я делаю выбор... ты слышишь, вечность, – делаю!».

Из дневника Кости:

«Предложенное объединение во многом по форме основано на том, чтобы уставным порядком сплотить наши разбегающиеся дела и желания... Уничтожить „своё и чужое“, создать нечто групповое имеет тот смысл, что просто мы слишком отчуждены, что нам уже нечего терять человеческого, потому что его почти не осталось. Осознание этого огромно...»

Замкнуться в ячейку, изолироваться – это неверно. К чему это реально может привести – к порабощению менее сильных более сильными, более приспособленными к такому делу, ибо люди лишаются остатков человеческого. Не то».

Из «СИДа»:

«Игорь уехал домой, поэтому все вопросы решали без него. Глеб и я были настроены решительно, а Костя колебался, высказывая различные контрдоводы и предложения... Мы бродили по городу – то в районе мединститута, то где-то у автовокзала, – и говорили, говорили, не обращая внимания на осторожно обходивших нас прохожих... В конце концов, Костя сдался».

Из дневника Кости:

«Совершается нечто огромное, невиданное. Мы отказываемся каждый от своего собственного и принимаем за своё „я“ – „я“ общее четырёх человек, занятых ликвидацией отчуждения, созданием теории

истории, революционной по своей сути... Чем это отличается от Рахметовых?.. Там человек остается человеком, жертвующим своим постоянно для общего дела. Здесь же нет жертвования... просто нет „меня“, но есть „мы“.

Отождествление себя с „нами“. Выступление вместе как отдельным субъектом исторического действия. Думать от имени нас... Но что это дает? Это уничтожает собственность в самом широком смысле слова на всё внутри нас... В дальнейшем можно представить нашу ячейку неотчуждённого мира как кирпичик. Из таких кирпичиков – путём расширения их... мир станет неотчуждённым, то есть миром, где люди отождествляют свои интересы с интересами всех?..».

Из «СИДа»:

«Придя домой к Косте, мы обсудили все возможности уничтожения между нами отчуждения. Решили отменить личную собственность на вещи, книги, идеи, будущее и т.д. Каждый тут же отчитался в том, что он имеет, потом свели всё в общий баланс. Для нашей цельной группы нужно было придумать какое-то название, и Костя предложил СИД...».

«Центральная задача СИДа: выработать теорию исторического действия, направленную на уничтожение человеческого отчуждения – после чего наступила очередь практики, то есть исторического действия. Мы (хотя и по-разному, с разными предпосылками и желанием) рвались к этой цели – и спотыкались ежечасно о мелочи и неурядицы реальной жизни. Это раздражало... казалось смешным быть свободным только на словах.

Мы искали причину – и видели чаще всего её в себе или напарниках по совместной работе».

Из дневника Славы:

«Что-то у нас не получается. Наверное, потому, что мы, субъективно новые, пытаемся ужиться со старыми объективными обстоятельствами; вуз, лекции, разговоры... Дома можно вести себя гостем, со знакомыми не здороваться, коллег не замечать, начальство избегать, в вуз... нет, в вуз ходить надо и на лекциях сидеть. Странно, но все наши объективные обстоятельства – это просто другие люди, играющие социальные роли. Мы боимся их обидеть, стараемся не потерять в их глазах „статус-кво“... В конечном итоге мы растрчиваем себя на них, приспособливаем себя к ним. Впрочем, нет.

Не то, что-то не то...».

Опять говорили с шести часов вечера до половины двенадцатого. И опять ничего... Есть от чего растеряться... СИД похож на человека, оставленного ночью в голой степи и думающего, куда пойти, где его дом. Где же наш дом, где наше будущее?..

Глеб считает, что мы лицемерим. Говорим о свободе, а сами ничего не предпринимаем. И когда общаемся – тоже лицемерим... Что делать? Сорвать сессию? Уйти из вуза? Разбирали эти вопросы, ни на чём конкретно не остановились. За каждым действием стоят последствия, вызывающие необходимость других действий. Крути inferno. На Глеба было больно смотреть, так он страдал, и мы тоже... Глеб вбил себе в голову идею свободы как самоцель. Ну, добьётся он её... и что он будет с ней делать?..

Напряжённый поиск какого-то пути к собственному освобождению, происходивший в основном в бесконечных многочасовых разговорах, в конце концов, привёл к взаимному раздражению, ссорам и хлопанью дверьми. Первым хлопнула Костя. Но ребята не разбежались.

Решено было расширить круг знакомых, выйти на связь с теми московскими литераторами и философами, которые стали нам близки по своим публикациям.

Из дневника Славы:

«В качестве визитной карточки решили отпечатать тезисы, выражающие суть нашего мировоззрения. Собрались в комнате у Глеба, но сразу же обнаружили разногласия...».

Игорь чеканил фразы об индивиде и человеке, я бросал афоризмы о свободе, Костя толковал об отчуждении. В конце концов измученный Глеб выгнал нас вон, сказав, что тезисы допишет сам.

И вот. Из письма Глеба по поводу поездки в Москву: „Здравствуй, Славик! Начинаю с главного: Генриха Батищева нашли и вчера весь вечер разговаривали у него дома. Это обаятельный средних лет человек (с бородой), чрезвычайно простой в общении, весь погружённый в миропотрясающие идеи „деятельной сущности человека“... Первым делом он ухватился за наши „Тезисы“ („я обожаю опредмеченное знание“), сунув нам с Костей по своей неопубликованной работе. Читал, черкал что-то на бумаге, потом отложил в сторону... и весь как-то совершенно беспомощно, удивлённо-растерянно раскрылся... Из дальнейшего выяснилось, что никто вроде нас к нему не приходил, хотя ходят и ездят много и часто, а именно нас он и ждал... Он ставит сразу вопрос в плоскость: „Что вам необходимо? Что я для вас могу сделать?“ – и начал с того, что дал нам адреса тех, кто был у меня записан в списках „московских целей“, – все они его хорошие знакомые». Удачные знакомства в Москве окрыляли.

Из «СИДа»:

«В нынешнюю программу входило продолжение попытки превращения нас в „ячейку неотчуждённого мира“ с одновременной разработкой „Теории исторического действия“. Я и Костя считали главной первую часть программы, Игорь и отчасти Глеб, ободрённые московскими успехами, думали иначе: им хотелось выйти поскорее на уровень большой науки».

В программе СИДа была заложена мысль об основании коммуны для совместной жизни. Долго искали подходящее жильё, и нашли на шестнадцатой станции Большого Фонтана.

Из «СИДа»:

«Приехал из своего Николаева Игорь, и мы начали „великое переселение“... Перевозили вещи, книги, обставляли комнаты. Костя вёл сложные переговоры с отцом, доказывая необходимость для себя „здорового коллектива“ и спартанской обстановки. Глеб вместе с книгами увёз из дома родительскую анафему. Я и Игорь, как люди самостоятельные (*Слава из Крыма – О.П.*), обошлись без этих крайностей, хотя мне и приходилось, чтобы не потерять место в общежитии, время от времени ночевать в нём, объясняя там свои многодневные отлучки связью с симпатичной вдовушкой.

Домик (или „замок“, как мы его окрестили) состоял из двух комнат и коридора. В первой комнате спали Игорь и на раскладушке Костя, во второй – я и Глеб...

Рядом проходила линия трамвая, было несколько магазинов, кинотеатр и небольшое кафе. Но более всего радовались морю и примостившейся по соседству маленькой рощице». Дополнительно к тем правилам, которые закрепились в СИДе с момента объединения, Костя написал целый гроссбух норм общения, озаглавив его «Этика»: «Мы, люди, живущие в мире, полном безумия и жестокости, радости веселья, уравновешивающих мерзость и подлость сущего, – писал он во введении, – берёмся за работу по изменению этого мира. Берёмся с самого начала – с изменения себя, ибо мы его дети, пропитанные духом его и его подлостью».

Среди норм забавно соседствовали ежевечерние исповеди по 15 минут на брата с требованием содержать организм в чистоте, смотреть на него как на средство и основание для работы духа, требование постоянного контроля над мышлением и его воспитанием с пожеланием видеть в женщине человека...

Из СИДа:

«Разговоры о быте были запрещены. Друг о друге проявляли самую трогательную заботливость... Еду на всех готовил тот, у кого было больше свободного времени, или тот, кто был более голоден. Время от времени питались в столовой. Деньги лежали в ящичке стола, расходование их не контролировалось: каждый брал себе столько, сколько нужно. Вероятно, поэтому денег у нас было много – от одной до двух сотен ежемесячно».

Но хотя все упорно и много занимались, из идеи совместной деятельности, увы, мало что получилось. Практически общим оказался лишь быт, а как раз проблемы быта, как чересчур тривиальные, ребята напрочь отвергли, пустив всё на самотёк и меру воспитанности каждого.

А эта мера, как выяснилось со временем, позволяла разное. Игорю, к примеру, «ни разу не прикоснуться к венику и молчаливо возлагать обязанности готовить еду на меня и Глеба», – как писал Слава в «СИДе». Труднее всех в тесных комнатухах с паутиной приходилось аристократичному Косте. Он стойчески переносил это, пока у него оставалась надежда на нравственный переворот СИДа, должный изменить его самого.

Но дни шли за днями. Теоретическая работа постепенно превратилась в самодовлеющую задачу. Главенствовал тот, кто обладал реальной ценностью – знаниями, а уровень знаний и способности строить концепции были практически одинаковы.

И в один из вечеров, после долгого разговора, собрав чемодан, ушёл Костя. А на следующий день впервые ночевал дома Глеб.

СИД трещал по швам, но не распадался. Вернулся Глеб, почти каждый день приходил Костя. Вновь начались разговоры о выходе из тушика. И о совместной деятельности. Нравственное и прочее развитие превратилось в личное дело каждого. Общими оставались мечта о другой жизни и ощущение внутренней иммиграции, чему способствовало регулярное чтение самиздата: «Хроники текущих событий», Померанца, Авторханова, Солженицына, Кестлера, Медведева, Набокова...

Я же, прочитав авторхановскую историю нашей партии, попала в больницу, в кардиологическое отделение. Это надо же, руководящая роль – Ягоды, Ежова, Берии, Сталина! Об этом надо в школе рассказывать. И я рассказывала (позднее, в 116-й школе, где в 1978 году преподавала историю), заслужив этим особое внимание администрации школы и райкома партии.

## часть 2

Из «СИДа»:

«Мы тщательно скрывали от всех существование коммуны и её местонахождение. Только Оля, Вячек, Ирина и ещё пара ребят знали о нашем домике и частенько приезжали к нам в гости... И в то же время теснота общения, когда мы постоянно спотыкались друг о друга, заставляла каждого из нас видеть в другом препятствие своим идеям и мыслям или материал для их воплощения».

Из дневника Глеба:

«Почему у нас из-за каждой мелочи... разгораются кровавые споры, увядющие в безнадежность? Среди нас господствует некое отношение, которое я хотел бы назвать принципом мясорубки и кото-

рое отнюдь не способствует отысканию новой искомой человечности... Я же предлагаю принцип камертона, то есть прямо противоположный. Это можно было бы назвать требованием доброжелательности... если бы сама доброжелательность не оставалась всего лишь пожеланием. Принцип камертона исходит из того, что мы не „критики“, а, прежде всего, друзья... Дороги созидания – они не для одного. Нельзя продолжать недоверие».

Из «СИДа»:

«Научные изыскания убедили нас в том, что марксизма-ленинизма как такового не существует: есть историко-философская теория Энгельса и историко-политическая теория Ленина. Каждая из этих теорий существенно отличалась от другой, и все они не имели ничего общего с теорией общественного строя, известного в СССР под названием „социализм“. Это открытие лишило нас почвы и уверенности; мы казались себе робинзонами, попавшими на необитаемый остров, где чтобы выжить, приходилось самим создавать своё будущее».

Жить было трудно. В юности всё происходит или «навсегда», или «никогда». Я же была наивна, романтична и неиспорченна. А ещё – инфантильна. Жила в счастливом неведении: меня все любят. Но недолго. До восемнадцати. Повзросление началось с открытия, к которому оказалась неподготовленной. Меня любили не все. Более того, почти все не любили – за счастливый, радостный эгоизм удачницы: ноги красивые, косы длинные. Цветы каждый день дарят. На соревнования по фехтованию приходят – а я в белом, клинок хлёсткий, точный, звон, блеск...

Было и другое. Страх перед мамой – её непониманием меня с моими вопросами: почему массовая коллективизация не узаконенное преступление, если основная масса крестьян уничтожена? Почему твой Сталин не видел, что забирают лучших? Почему накануне войны командиров под нож? Почему «За Родину!» – «За Сталина!» – синонимы? Ведь он ненавидел свой народ...

Мне были чужды идеи СИДа с их отрицанием индивидуальности, попытками отказаться от себя ради чего-то коллективного, но ребята здесь были живые и тёплые, в отличие от всех тех, с кем я сталкивалась на факультете и за его стенами.

Я полюбила Глеба. И вышла замуж. Не ко времени. Надо было защищать дипломы. Защищались мы трудно. Нас было мало на истфаке, писавших дипломы по кафедре философии, а не по историческим кафедрам. Костя успел защитить вовремя. А Глебу (самому какому? – последовательному? отчаянному? – самому не такому) велели диплом получить после года отработки в селе со справкой об окончании университета... И председатель госкомиссии (!) написал в отзыве к Глебушкиной работе: «Рекомендуется к защите с оценкой „отлично“... после доработки можно рассматривать как кандидатскую...». Так и уехал Глеб со справкой вместо диплома в глухое село Бирносое, оставив Одессу и меня...

Меня жалели. «Надо же, девочка так влипла! Сидел этот её, на полу деканата сидел, обняв коленки. Протестант!». Доцент с кафедры археологии говорила: «Глеб – это крест твой, голубушка, и он тебе не по силам. Думай о науке, пиши стихи о жизни. А не о протестантах!».

Я писала диплом по философии Ганди и хорошо знала, что протест сидя – вещь впечатляющая, когда сидят все. А когда один – ненадёжная...

Я думала о Глебе и сквозь него прорастала в жизнь. Мы жили дружно. Нас выгнали родители из дому – и моя мама, и его папа. Впрочем, это было позже. А пока... пока мы были в кризисе. Все. И Глеб, и Костя, и мы с Ириной, и Слава – мягкий и терпеливый.

Это он записал мои слова в своём дневнике 1971 года: «Мужчины мои, мальчишки, – я всегда говорила вам, что жизнь – это прежде всего радость. И если Новый год, значит, нужна ёлка. А вы сопротивлялись и не хотели праздников. Но я окажусь права. Коммуна распадётся. История СИДа станет предметом пристального и враждебного внимания. Осядет под замком. Я спрашиваю нас всех: „Мир – что, просто бездна, в которую мы канем? Память – что, сквозная рана, которая зарубцуется со временем? Но как же мы есть тогда друг у друга и останемся?“».

А жизнь крошилась. Костя бросил всё и уехал в Ленинград. Двухнедельный прогул совершил Глеб, а я написала заявление об уходе из университета по собственному желанию. Вуз мешал всем нам. А может, это мёртвый воздух, которым мы дышали, вызывал дурноту, желание убежать? Куда?..

Холодно было в ту зиму 1972 года. В коммуне топили печку и не могли согреться. Внезапно Игоря вызвали в деканат, и чужой человек в штатском долго беседовал с ним. А в феврале в «замок» пришла я и, ежась, рассказала, как сегодня пошутила:

– Он протянул мне руку через стол: «Владимир Ильич». Я ответила, пожимая руку: «Надежда Константиновна».

– Не ври, – сказали мальчишки, – следовательно руку не подаёт.

– Не подаёт, – согласилась я. – Он протянул ручку, чтобы подписать девять листов протоколов. Я подписала бумаги, где поименно перечислила, кто что из нас читает, чтобы они в своём КГБ не волновались на наш счёт. У нас наука, а не политика. Слава вот читает Аверинцева, а Костик – Сартра и Камю, а Игорь – Шпенглера и Ясперса, а я – психологию Пиаже...

И такое перечисление было моим преступлением, потому что называть в этом месте имена в контексте читаемых книг – преступление дозволенной черты. До черты – дистилляты университетских программных монографий, после – «дополнительная литература», не предусмотренная программой, и, как следствие, подпись под протоколом следователя КГБ Владимира Ильича или Александра Сергеевича. Нам везло на «именитых» следователей...

Из «СИДа»:

«Игорь о своей беседе информировал только Глеба, да и то, путаясь, запинаясь и темня. Тогда так и осталось неясным, что именно рассказал он о нас и о Вячке. Только позже, в 1975 году, во время процесса над Вячком, стало ясно, что Игорь рассказал всё или почти всё».

А Вячек в результате процесса оказался на год в психушке с диагнозом, вызывающим остолбенение (да, взаправду остолбенение): «философская интоксикация, мания правдоискательства, вялотекущая пшизофрения». (Отъезд Кости в Ленинград наполнил Игоря тяжёлыми переживаниями. По ночам он долго не засыпал, у него начался невроз, и нескрываемый страх заставил его решиться на прямой разговор с Костиным отцом – прокурором, который обещал «всех вас, мерзавцев, засадить в тюрьму», если его сын не вернется назад.

Помню, захожу в читальный зал университетской библиотеки. Игорь конспектирует Ницше. У меня растрёпанный Мах и булка с сыром.

– Игорь, – говорю, – хочешь Маха?

– Нет, – односложно и головы не поднимая.

– А булку?

Знаю, что голоден, но быстро ухожу, потому что он взъеряется сразу, когда ему что не так.

– Не мешай мне нормально функционировать, не вмешивайся в мой гомеостазис! – орёт Иванников на весь зал.

Из моего более позднего письма Глебу:

«Тогда, в 1971-1972 годах, мы все почувствовали, как заурчало, задергалось вокруг и под нами, и стали выпадать куда-то люди. Во что-то и в кого-то перебалтываться. Шла растаска. Пока её не было, можно было предполагать дружеское сообщество, единство, можно было писать как бы „для всех“, рассчитывая в упрёке, юморе, разговоре на возможность общей цепной эмоции, мысли. Мы рассчитывали на „коллективный смех“ в атмосфере дружеской взаимной критики и, как максимум, на исправление нравов.

Общность в юности ещё не распадалась – но, может быть, потому, что ещё не создалась? Не было ли это иллюзией, что все мы – красивые, двадцати-, двадцатидвухлетние – суть одно?».

Из ответного письма Глеба:

«В одних кульминация общности – нечленимой, нерассудительной дошла до предела, за которым иллюзией уже не была, не могла дальше быть (Оля – Костя – Глеб). Интересно, что и кое-кто ещё был зацеплен красшком этого духа, зацеплен и подтащен дальше собственных желаний, куда и не собирался вовсе – незачем было. Или не было доверия к другому».

Итак, в одних – кульминация иллюзии, в других – эксплуатация её для себя, переработка в „положительные эмоции“, схватчивость, обещающая ой как много в последующем. Была также и смесь одного с другим, в разных пропорциях, дающих в итоге несходные на вкус коктейли: от полу невинного младенческого эгоизма – до лицемерной ловли дураков. Третьи же были „дураками“, то есть самими, что ли, честными – не понимая, что происходит в них и вокруг, они ведь и не притворялись, что всё в жизни безумно важно, больше высматривали, чем смотрели. Мимо них вообще всё прошло».

Из письма Глеба, 1973 год:

«Я люблю тебя. А ты меня понимаешь. Будем ходить к морю и писать стихи. А потом у нас будет дом и собака... Моя родная, добрая, постарайся, чтобы у нас был ребёнок... Я верю, что благодаря тебе и природе случится чудо...».

Шла моя семейная жизнь. Менялись частные квартиры... На Ромашковой улице в 1975 году мама, убеждённая моим отчаянием и любовью, которые часто оказывались рядом, сняла для нас с Глебом дом. Большая комната с тремя окнами, кухня и ванна без воды стоили пятьдесят рублей в месяц. Был хозяин, юрист и при нём женщина. На двоих у них набралось две квартиры и наш коттеджик, затерянный среди таких же домиков по Ромашковой, между заборами, фруктовыми деревьями и садовыми дымками, пахнущими осенней ясностью. (Хозяин оказался плохим человеком: спустя много лет приставал к моему другу, хорошему писателю, Игорю Божко, обвиняя в тунеядстве и хулиганстве, – тот ел вишни с его дерева...). Приложением к дому хозяин оставил нам немецкую овчарку Альму.

Забыла наш, оказавшийся последним, дом, забыла плохого человека – Альму помню, и не люблю больших собак за то, что их трудно прокормить! Ежедневный бидончик столовских отходов обходился нам в пятьдесят копеек. А хозяин кормил Альму размоченной буханкой хлеба...

На Ромашковую из владимирских лесов приезжал к нам Костя, преподававший в селе физкультуру. Место историка было занято, и Костя учил в сельской школе детей строевому шагу («Нале-во! Напра-во!») и ходьбе на лыжах...



В селе Костя писал повесть под названием «На грани пустоты и боли», пил водку и готовился – к аспирантуре? к писательству? Оказалось, к женитьбе на мне. Случилось это почти нечаянно.

В декабре 1975 года настоящее стихийное бедствие обрушилось на Одессу. Разыгрался антициклон. Ветви деревьев после оттепели внезапно оледенели. Сначала было красиво необыкновенно, а потом город заплакал. Слезы леденели на ветру, и град сбивал ветви в тяжёлых ледяных шубах. Первыми рухнули старые акации. Большая ветка, полдерева, на Будённого угол Мясоедовской, упала на голубой «Запорожец» и сплющила его. Перестали ходить троллейбусы и трамваи. В городе погас свет. Остановились насосы водонапорной станции. Ведро воды стоило рубль. Буханка хлеба – тоже. Очереди за молоком выстраивались с четырёх утра. К шести за молоком вставать было поздно. На пятые сутки, когда температура в комнате опустилась до девяти градусов, (корогаза у нас не было, газовой плиты – тоже, а электроплитку не включить), когда я уже рассекла себе бровь отлетевшей щепкой (рубил доску от ящиков, чтобы растопить чунонок парового отопления, забыв, что воды давно нет), – Глеб замер перед разрисованным холодными ладьями окном и в задумчивости съел НЗ – банку шпротов и банку гущёнки.

– Лучше бы у тебя был запой, было бы понятнее и уважительнее! – сорвалась я.

– Ах, Оля, – при встречах накручивала и без того тугую пружину мама, – он о тебе не помнит, он контра, и я посажу его, если ты не...

Это было реально. Это мама – прокурор – могла. Тем более, что уже был арестован Вячек, и принесённый им самиздат лежал во всех углах нашей комнаты. И Глеба вызвали в КГБ, и он давал показания на друга, а потом от них отказывался. И ещё: непонятно, кто навёл на любимого учителя – Вадима Сергеевича. «Архиселаг ГУЛАГ», изъятый у него на даче, фигурировал в грозившем стать общим деле Вячека<sup>1</sup>... Учителя сделали свидетелем.

Глеб сказал просто и ясно: «Единственное, что я могу для тебя сделать, любимая, – это оставить...».

Оставление затянулось на годы. Развели же через три дня – чего проще, мама-прокурор дала «зелёную улицу». После всего, что было сделано с Вадимом Сергеевичем и его учениками, учитель болел и уже так и не оправился...

Через два года, отслужив в армии, Слава поселился под Москвой. Под Москвой жил и работал Костя. В Москву уехал Глеб.

Итак – Москва. Вбирающая, как насос, всех, кого вытолкнула «тихая провинциальная улочка».

Но сидовцы вновь и вновь встречались у моря. Потому что все узелки связывались в Одессе. И, если с кем-то что-то случалось, – возвращались, собирались, распутывали. Узлов предпочитали не рубить. Предпочитали думать над ними, потихоньку раздёргивая. Только узел Игоря завязался на стороне – до него всё ещё не добраться.

... Спустя два десятилетия я всматриваюсь в наши записи и в наши лица – мужчины мои, мальчишки! Помните, я всегда говорила, что жизнь – это прежде всего радость, и если Новый год, то нужна ёлка. А вы сопротивлялись; и не хотели праздников. И вот теперь, когда коммуна распалась, когда история СИДа стала предметом внимания пристального и враждебного нам читателя, осев под замком КГБ, я спрашиваю нас всех: мир – что, просто бездна, в которой мы утонем без следа? Память – что, сквозная рана, которая зарубцуется? Но как же тогда мы есть друг у друга и останемся?

Я стягиваю наши ниточки в новый узелок. Я знаю, что без таких узелков не выжить ни нам, ни нашей стране. Мне важно понять: правда ли, что, раздумывая о конце СИДа, я создаю своё завтра? И насколько оно моё, если я не думаю при этом о вас, зажав в кулаке наши нити, связанные узелком общей мечты?

В середине сентября 1976 года, после неудачной попытки самоубийства и принудительного лечения, я вышла из психоневрологического диспансера. И Костя, приехавший по телеграмме моего мужа Глеба, забрал меня замуж. Костя был родом из СИДа. Этот проклятый мир не научил его любви. СИД же научил умению подставлять плечо и, если надо, жертвовать собой.

Жизнь крошилась и разламывалась вокруг.

– Надо выжить, – сказал мне Костя. – Всё образуется, надо выжить, вот моя рука.

1984 год, Одесса

<sup>1</sup> «Одесский мартиролог», 1997 г., том 1, серия «Одесского Мемориала», с. 734-748, ОКФА, 1997, ISBN 966-571-065-9).